

Случилось это, когда всё, что было привычно для здешнего люда, к чему он прикипел душой, полетело вверх тормашками, когда по злому умыслу (а по какому же ещё?..) мужики учинили расправу над рыболовецким колхозом, который подсоблял им выжить и в самую горестную пору. Сказано было кем-то, кто сидел наверху: поделите остатнее от колхоза промеж себя и держите курс на новую жизнь. Рыбаки, привыкшие верить тем, кто во власти, так и сделали, хотя понятия не имели про ту жизнь даже самые умные из них. Надо сказать, кое-кто самустился на даровой рынок, про который в те дни не знал разве что грудной младенец, и начал, оглашенный, ни в чём не разобравшись, ратовать за него. Умников потом, когда стало и вовсе худо и не в каждой избе можно было сыскать хлебную ржаную корочку, мужики крепко побили, говоря; “Не лезь поперёк батьки в пекло: коль не знаешь чего, лучше помолчи!..”

Вышло по присловью: от большого ума и беды большие, — почему и притихли те, кто привык уважать себя и ни с кем не считаться, выставить напоказ идущее вперехлёст с общиной за версту видное самомнение. За то и почесали мужики (дорвались до бесплатного!..) кулаки об их спины. Окажись тогда рядом с ними во власть пролезшие, было бы и им дадено на орехи. Но те глаз не казали в Подлеморье, как мыши, забились по тёмным

городским углам, дожидаясь своего часа. И тот час приспел и пуще прежнего разворотил в людских душах.

При дележе скудного колхозного “богачества” достался Ефиму Коростылёву трелёвочный трактор. Почему? Кто бы сказал!.. Но, наверно, потому что не нашлось охотников, а тот, кто управлял им все последние годы, неожиданно (ни на что не жаловался и не был замечен в чрезмерном употреблении алкогольных напитков, отчего порой и здоровущий мужик вдруг да и “сковырнётся с копыт”) помер.

Ефиму сказали: “Бери технику. Ничё другого тут не осталось!..” И он взял и потемну, днём-то роботно было: “всё ж от колхозу оторвано, а чё как сыщутся защитники евоного, поди, не все разбежались иль, приняв новый устав, рванули на край света за длинным рублём”, загнал трактор на отчее подворье, едва не разворотив дровяник и черканув стальным боком по сарайчику, где хранилось разное, потребное в хозяйстве, к примеру, вилы да грабли, топоры да пилы. Маня, жена его, услышав рёв мотора не где-то там, а у себя по боком, выскочила во двор, накинулась на Ефима, растрёпанная, рыжие волосы в кудряшках аж дыбом встали, а косынка, под которую прятала их, сорвалась с головы, как только удержалась на узких бабьих плечах:

— Ты чё, иль вовсе с ума съехал? Чего пригнал-то енту хреновину? На кой она?..

Ефим под строгим оглядом Мани, которую побаивался, ссутулился и, пуще прежнего косолапя, обошёл вокруг трелёвочника, а потом, ни слова не говоря, согнувшись едва ль не пополам, пролез в сарайчик и, присев на какое-то шмутьё, затаился. Ему надо было подумать, что делать с трактором?.. Уж так получилось, что, когда услышал про него от завгара, даже в голову не пришло отказаться. “Люди-то берут чё ни попадя. А я иль хуже других?..”

К тому времени завгар и его работяги всё, что согдилось бы в домашнем хозяйстве, поделили меж собой, начисто запаятавав про малорослого мужика с короткой шеей, на которой держалась остроноса рыжеусая голова, и, видать, не шибко надёжно держалась, бывало, наклонялась то в одну сторону, то в другую, это когда Ефим задумывался и переставал следить за собой. Вот и когда в гараже, где был записан в разнорабочие, кому даже малой пацан мог приказать принести это да подать то, начался делёж колхозного имущества, он растерялся, засвербила мысль: “С чего бы вдруг?.. И куды податься, ить пропаду же без колхозу?..” И он стоял и, начисто запаятавав про свой интерес, смотрел, как на глазах у него растаскивали всё, что было в гараже. Очнулся, когда был вынесен последний молоток, взятый добродееми в кузне, и подошёл к толстомордому с грустными глазами завгару и спросил:

— А чё дальше? Куды я?..

Завгар, длинноногий мужик с кущею пегой бородкой, сверху вниз посмотрел на него с лёгким недоумением в коричневых глазах и сказал вяло:

— Куды хошь.

И, чуть только помешкав, предложил Ефиму колхозный трактор:

— Бери, — сказал. — Ить ты, скоко помню, с уваженьем относился ко всякой разной технике. Чего уж тут, коль скоро никто не позарился на трелёвочник, стало быть, он твой.

Ефим усмехнулся: “Бери, Боже, что нам не гоже”. Но подумал-подумал и не пошёл в отказ. Надо быть, ещё и потому, что раньше не однажды подходил к трелёвочнику и смахивал тряпкой пыль со стальных боков, невесть что бормоча про себя, но чаще про то, что трактор вроде бы как неприкаянный, никому не нужный. А и верно, о нём вспоминали, лишь когда надо было поработать на лесосечной, отведённой колхозу делянке. Трактор подсоблял людям заготавливать строевой лес, который потом привозили на берег Байкала и загружали на баржи. В те рабочие для себя дни трактор вроде бы подтягивался, выглядел куда как ладно, всем своим стальным существом прикипал к делу, которое выпало, и не нуждался в том, чтоб его жалели, а порой словно бы даже досадовал, когда Ефим, потревоженный в своей человеческой сути, говорил про него: “Во, старенький уж, а всё, бедолага, пашет. Беда, однако. Ить наверняка замордуют, загонят вдрызг, да и бросют”. “Врёшь, не возьмёшь!..” — вроде бы отвечал трактор, прибегши к помощи

Ефима, который один, кажется, понимал в нём и старался при случае убрать с гусениц таёжную непотребь иль почистить соломой стекло в кабине. Сам-то тракторист был человек никудышный, про свой интерес и знал, а про трелёвочник, на котором работал, и в лучшие дни едва только помнил. И сроду не брал в руки тряпку, чтоб смахнуть пыль.

Ефим, едва вечеряло, выходил во двор, открывал дверцу трактора, залезал в кабину и подолгу просиживал в ней. Бывало, забывшись, говорил с трелёвочником, как если бы тот понимал про его смущение и тоже досадовал, что и впрямь нынче сделался никому не надобен, потому и остаревает даже быстро: вон уж и дверку заклинивает, и поскрипывает та пуце прежнего, и капот мало-помалу ржавеет, и мотор, коль скоро Ефим пытался завести его, подолгу пыхтел, как если бы отгоняя от себя скукоту, а она, окаянная, подобно ржавчине поселилась едва ль не в каждом изгибе стального тела, отчего и поблескивал трактор даже в ясные дни как-то тоскливо и пощипывающе на сердце у Ефима. А когда солнечные лучи упали на металлическую обшиву, мнилось мужику, будто-де трактор похож на огромного лося, потерявшего нюх и потому не ведающего, к какому берегу пристать, где он мог бы передохнуть после жутких мытарств, которые испытал, бредя узкими и коварными. про меж скал пролеглими тропами. Непонятно, отыщет ли тот берег? А то, может, натолкнувшись на волчью стаю, сгинет без следа?.. Старый лось, кажется, предполагал и это, но был спокоен и угрюмовато оглядывал ближние пространства почти ослепшими глазами, точно бы норовил рассмотреть то, чего не довелось увидеть прежде. Но тщетны были его надежды на новину. Не для него она нынче, манящая и отталкивающая от себя.

Ефим, сидя в кабине, как если бы утрачивал в себе, зато обретал способность чувствовать живую плоть трактора, а нередко проникал в тайные его намеренья, и удивлялся, и расстраивался оттого, что ничем не мог помочь ему. А и впрямь, он не мог ничего сделать, чтоб отогнать от трелёвочника гнетущую скукоту. Не далее как вчера Ефим ходил к бывшему председателю колхоза и сказывал про то, что трактор без дела долго не протянет, рассыплется. А потом собери его!.. “Ить техника-то, когда работает, дышит ровно и ничё с ей не делается. А стоит загнать её в тупик, и всё, через малое время концов не сыщешь”. — “Да я чё, тупой, не понимаю. — отвечал бывший председатель. — Токо чего я могу?.. Не нужен нынче твой трелёвщик никому. Слышать, соляры много жрёт”. — “Не каждому слуху можно верить, — не согласился Ефим. — Иль кто-то пытался поработать на ём? Да не было такого с того дня, как я пригнал его. Вот и стоит уж месяц во дворе и ржавеет без пуця”.

И долго ли ему там быть? Вопрос. Жена не раз говорила, чтоб убрал со двора: когда в дровяник захочешь пойти иль в туалет сбежать, нужно обходить трактор. Порой не сразу и обойдёшь, вдруг да и обожжёшь руки о стальную обшиву, разогретую полуденным солнцем, а порой и того хуже, это когда ненароком коснёшься её боком. Тогда хоть криком кричи. Маня и закричала бы, да что-то сдерживало, что-то затаившееся в глазах у Ефима. Как если бы опасалась, что это утайное выплеснется наружу, и тогда никому мало не покажется. Впрочем, муж ни разу не серчал так, чтоб ей стало страшно. Такого не было и до недавнего времени казалось, что не будет. А вот теперь, поглядев в глаза Ефиму, едва не поменялась в своём суждении. Вроде бы как перед нею раскрылась вся боль, что скопилась в избах поселья, а потом окатила мужа лютой стыlostью. Её мужа.

“Да пошто бы так-то?.. — стоя на низком чёрном крыльчке рядом с Ефимом, вздыхала Маня и пуце прежнего зажимала рот посудным полотенцем, боялась: всё, что нынче бродит в душе, выплеснется наружу. — Ну, чего он такое, ентот трактор, иль живой, чтоб об нём так печалиться?.. Да пропади он пропадом!..”

Она мысленно сказала так, и вроде бы полегчало на сердце. И, обежав взглядом трактор, а потом посмотрев на солнце, укатывающееся за чёрный двурогий голец, убрала от лица руку с посудным полотенцем и тихонько выдохнула:

— А пойдём-ка повечеряем. Я блинчиков напекла...

Ефим кивнул, но как-то вяло, это задело за живое Маню, сказала досадливо:

— Ты вроде бы недоволен. Чем же?..

Ефим смутился, но, не найдя надобных слов, промолчал. Маня осторожно посмотрела на мужа, увидела в лице у него не то чтоб отчаяние, но что-то приближенное к нему и обронила поспешно, вся наполняясь жалостью к этому непутёвому, как говорили про него, человеку:

— Ну, чё ты?.. Стоит ли переживать из-за какого-то трактора, чтоб ему пусто было.

— При чём тут трактор?.. Тут навряд бы другое. А вот чё, убей не пойму.

Трелёвочник, ещё когда Ефим работал в гараже, обозвали непутёвым, как и его самого. Это было обидно, но он терпел, возился со стальной машиной, что-то ладил, но чаще соскабливал с гусениц болотистую накипь: лесосека-то находилась за жутко забитым густотравьем глухим заболотьем, проехать которое даже на тракторе было непросто. Вся обшива залеплялась дурно пахнущей накипью. И, чтоб избавиться от неё, тогдашний тракторист просил Ефима подсобить. И он не отказывал. Впрочем, при чём тут подсоба?.. Ефим всё делал один, а тот, кому полагалось следить за трелёвочником, околачивался рядом, порой сказывая насмешливо мужику, который вдрут оказывался рядом с ним:

— С Ефимки не убудем. Ить и трактор весь в его, тож непутёвый, не понимает свою интересу.

С того и пошло: “непутёвый трактор”. А он и впрямь такой и был: когда выпадала нужда стогнуть в соседское поселье, вдруг начинал спасу нет как чихать. Подчас так и не прочихивался. Вот и приходилось кое-кому бежать на своих двоих вёрст за пять к бабке Варёнихе, которая гнала самогон. И, надо сказать, приличный самогон. У старухи во всём был порядок. За то и уважали её в Подлеморье.

Но, коль скоро Ефиму выпадало съездить куда-нибудь, трактор не подвозил. Не позволял себе никакой вольности и не чихал, когда Ефим возился с мотором. Мужики шутили: “Свояк свояка видит издалека”. Не зря ж сам механик-водитель нередко просил Ефима выгнать трактор на трелёвочную полосу и уж потом залезал в кабину.

Так всё и было, но попробуй, догадайся, отчего бы?.. Это оказалось никому не под силу, как не под силу было понять Мане, отчего, дай Ефиму хотя бы малую денюжку, чтоб хлеба купил иль консерву, он, порой не дойдя до лавчонки, спустит её. И ладно бы, баловался водочкой, дак нет, на дух не переносил спиртного. Тогда куда ж девал денюжку-то?.. А выпивохам отдавал, кто днюет, подпирая подгнившие стены лавчонки хилыми боками, коль скоро те жалобно смотрели на него, а то малышне вдруг покупал конфеты: слышать, давненько уж не перепало им ничего сладкого.

Ну, не мог он никому отказать, вот и зарабатывал на орехи от Мани. Впрочем, жена, привыкнув к нему, всё реже посылала его за чем-либо, сама исхитрялась и по дому чего ни то поделать, и в лавчонку сбегать, и с соседскими бабами побайковать за “жисть”. С мужем-то не поговоришь, он вроде бы как отгороженный ото всех, ничего не слышит, или делает вид, что не слышит?.. — тут уж кому как покажется. Не однажды Маня пыталась вывести мужа из этого душевного состояния, и чего только не придумывала: вдрут да и, как бы споткнувшись и уронив на ноги вёдра с водой, заходила в крике. Ефим выскакивал на крыльцо, но и тогда, ни слова не произнеся, лишь подымал вёдра с земли и поспешал к ручью. А потом говорил с Маней ровным голосом, точно бы ничего не случилось, и не она только что уронила на ноги вёдра с водой. А то бывало и так, что Маня со скуки ли, от досады ли, что муж всё больше молчит, уйдя в горничку, иль бормочет под нос, как оглашенный, уходила из дому на целый день, “заседала” невесть где, но чаще у соседки, жаловалась на мужа и выслушивала разное про мужскую оголтелость и нежелание жить, как в нормальных семьях. Правда, кто скажет, как там у тех, у кого всё в норме?.. Небось замаешься гадать. Когда ж Маня возвращалась домой, обычно заставляла Ефима поникше сидящим на

краешке крыльца и невесть о чём размышляющим, но, надо быть, не о том, что пора бы уж подумать о дровах, “ить время-то скоренько бежит, вон и в ночи мало-помалу холодает; где станем нынче заготовливать дрова-то, слышать, на прежнюю делянку уж не пускают: и там завёлся хозяин, чтоб ему пусто было!..” Но куда там!.. Сам-то Ефим небось сроду не озабочится бы этим, а только когда, взяв за руку, Маня заводила непутёвого в дровяничок под тощей. из дранки слеппенной крыши и подносила ему к носу едва ль не последнее полешко.

Всё так, так... Тогда почему же Маня и подумать не смела, что когда-нибудь подле неё не окажется Ефима, кого не раз за глаза, а то и глядя ему в глаза, коль шибко осерчает, называла непутёвым?.. То-то и оно, что сама не понимала, пошто так, пошто, стоило поглядеть на понурившегося Ефима, словно бы что-то гнетёт его, как захолонёт на сердце и станет отчаянно жаль человека, кто сделался её мужем и кого она путём не знала, но хотела бы знать. Однако ж все её старания разбивались о нежелание Ефима пускать кого-то в свою душу. И то ещё удивительно, что он не стремился к этому, вовсе нет, просто таким уродился, и тут уж не поменяешь, хотя бы жена и расстаралась.

В конце концов, Маня смирилась с этим и уж не норовила влезть в мужнину душу. Всё ж не однажды пыталась отватить Ефима от старого трактора, чтоб не забивал голову чем ни попадя. Тут она проявляла отчаянное упорство и не шла ни на какие уступки. Умяв жалость, что захлёстывала, она досадливо сказывала про то, что опротивело ей видеть перед собой стальную махину, которую не обойдёшь, не повредив в себе. И сказывала в самый неподходящий момент, когда, к примеру, Ефим привычно сидел в укромном уголке, в запечье, с давних пор поглянувшемся ему: тут редко кто мог потревожить его, разве что Маня, — и уходил мыслями далеко-далёко, туда, где было ни к чему не влекуще и где душа легко впадала в дрему и не откликалась ни на что, могущее поломать в ней. Она как бы уже не принадлежала Ефиму, а кому-то ещё всесильному и сияющему, подобно небесному светилу, вплотную приблизившемуся к земле и согревающему её горячими лучами. Но то и ладно, что лучи не обжигали, а словно бы вносили благодатное тепло во вдруг захладававшее тело.

Ефим, растолканный женой, обычно долго не мог прийти в себя и смотрел на неё, вроде бы как не узнавая. И Мане казалось, что теперь он спросит: “Ты кто такая?..” и она, мда, что же она, психанёт, конечно, и наорёт на него, непутёвого, иль придумает чего похлеще?.. Но, слава Богу, Ефим, хотя и не сразу, приходил в себя и спрашивал как бы даже виновато:

— Ну, чё ты?..

Вот и в тот раз было так же, как всегда. С той лишь разницей, что Маня сделалась ещё упорней, маленькая, шустроногая, живчик, да и только, и минуты не постоит на месте и всё носится по горничке, носится, выманивая мужа из закутья и не переставая сыпать бойкими словами, которые не задерживались бы у Ефима в голове и, может статься, умотали бы в те края, где им самое место, если б не касались трактора. Но только о нём, кажется, не клёлся нынче Маня, и Ефим, в конце концов, не выдержал и едва ль не выбежал из дому, досадливо побряхтывая, а потом покрутился подле трактора, слезал в кабину, проверил, есть ли в баке соляра. Оказалось, нету. И тогда он вышел со своего подворья, не прикрыв за собой калитку, и заспешил по улочке в ту сторону, где стояла ладно уцепившаяся за землю всеми своими связями изба с большими светлыми окнами и с горделиво взнесшейся над тёсовой крышей печной трубой. А подойдя, постучал в высокие, слеппенные из добротной доски ворота и кликнул хозяина. И, когда тот оказался рядом с ним, поведал о том, что привело его сюда. Бывший председатель колхоза, широкогрудый, как и его изба, мужик с ленивыми узкими глазками на длинном плоском лице и с крохотульной закорючкой заместо носа недолго отнекивался, забежал в избу, вернулся с трёхлитровой фляжкой, пропахшей солярой, сказал, набычась, Ефиму:

— Бери. Да штоб в другой раз не обращался ко мне. Не дам. Я не колхоз, у меня ничё лишнего нету. — Помолчал, задумчиво теребя коротко стриженную бородку: — А фляжку не забудь опосля вернуть.

Ближе к вечеру Ефим залез в бак соляру и завёл трактор. Долго сидел в кабине, прислушиваясь к ровному гудению мотора, и чудное мелькало в голове: будто-де он уже выехал за ворота, а малость годя вырुлил на широкую дорогу, потом свернул на просёлок и вот уж подогнал трактор к горному ручью, шаловливо и легко скидывающемуся в долину с изножья высоченного гольца, где он вырвался из горных теснин, шустроногий и упрямый, и заспешил к Байкалу, пробивая дорогу меж тёмно-серых камней.

Ефим подъехал к ручью и вышел из кабины, заглушив мотор, и опустился на корточки возле тонконогого черёмухового деревца и закрыл глаза. И тут же на него навалилась дрёма. И он не стал противиться ей и скоро оказался в сияющей под низким рыжим солнцем пространственности, которую можно было бы назвать степью, но это была не степь, а что-то её напоминающее, однако ж чуждое ей своим приятием мира. Это ощущалось хотя бы в том, что тут не хватало воздуха и надо было напрячься, чтоб отодвинуть жёсткую утеснённость в груди, не поддаться ей и ощутить себя и тут, как в степи, свободным, ни от кого не зависимым человеком.

И это, правда, не сразу, удалось Ефиму. В душе сдвинулось, куда-то подевалась всегдашняя неуверенность, как если бы он был ещё жив противно всеобщему, меж людей принятому установлению, а может статься, и по чьёму-то недосмотру. Он стяхнул с себя это суетное, как скакун, пробежавший густолесьем вёрсты и изрядно вспотевший, а потом глянул вокруг и облегчённо вздохнул. Всё, что нынче предстало перед ним, было знакомо с тех пор, как навалился выталкиваться из себя и приобретать несвойственную ему отчаянную решимость, которая позволяла проникать в тайны пока ещё мало знакомого мира.

Он, наверное, утратил бы надобную тут осторожность и сделался бы неудобен для тех, кто управлял тем миром, и они попросили бы его покинуть их. Да, наверно, так и было бы, когда б не матушка с батяней. Они не дали Ефиму выйти за рамки дозволенного и проявить любопытство там, где это было отвратно духу здешних мест.

Ефим не видел дорогих сердцу людей, но отчётливо, ничем не утесняемо ощущал их присутствие рядом с собой, а нередко слышал их голоса и радовался этому, как младенец. Одно смущало, что не мог понять, о чём они говорили, что-то в нём срабатывало, и он отодвигался от самого себя и не мог слышать их.

Но вдруг, неведь чем подталкиваемо, исчезло щемящее чувство связанности с дальним миром, в котором и ему, когда приспееет срок, пребывать, а заместо него появилось другое чувство, остужающее на сердце. Сделав над собой усилие, Ефим открыл глаза и увидал Маню.

— Едва добудилась... — сказала она. — Ну ты и спать. Язви!..

— Чего тебе?.. — недовольно спросил Ефим.

— Ты ж обещал нынче убрать со двора трактор.

Ефим, ни слова не говоря, вышел из дому, распахнул настежь почерневшие от долгожития ворота. Чуть помешкав, трактор, помнилось, легко и незыбисто выкатился с подворья. Но, очутившись в улочке, тут же заглох. Ефим слегка подсаждал, бормоча под нос: "Вот непугёвый-то, а?.. Ну, чё куражисся?.. Ничем уж тут не пособишь. Чую, и в улочке не дадут спокойно дожить свой век. Скажут, расшеперился во всю долину, ни пройти, ни проехать".

Как в воду глядел. Не прошло и недели, как в избу зачастили соседи с жалобами: "Чё ты выставил-то его на погляд? Словно бы каку чуду. А ить старьё твой трелёвник, у его, поди, уж песок сыплется из задницы. Но да ладно бы, когда б токо на погляд. А то беда прям: не проехать уж машине с дрoвами. В прошлый раз поленья сам таскал на горбуше. Не дело. Уберика его!.."

Ну, раз пожалобились, другой... И, в конце концов, Ефим, порывшись в моторе, завёл трелёвочник. Порадовался: не отвыкли ещё руки, да и глаз не подвёл. А уж куда намеревался поставить трактор, про то, помимо Ефима, знал бывший председатель колхоза. Он выглядел свободное место подле доживающего свой век посельского клуба. Сюда нынче даже молодые не ходят. Опасаются, просядет потолок, по углам-то прогнил насквозь, и придавит.

Впрочем, какие теперь в поселёе молодые?.. Пальцев на одной руке хватит, чтобы счесть всех. Поразбежались в поисках работы кто куда, а ведь многие не желали уезжать из Подлеморья, где всё глабулось, а пуще того, море сибирское. Уж потом куда легла их путь-дорога, одному Господу ведомо.

Ефим стронул трактор с места и под оглядом мужиков, которым нечем было заняться, подъехал к бывшему клубу, а уж потом загнал его на изрядно взнесшийся над поселёем пригорок, где прежде парни и девчата сиживали на мягкой, без единой колочки, дурманяще пахнувшей траве и сказывали про себя ли, про то ли, что окружало, и думали, что так будет всегда.

Ефим выбрался из кабины со щемящим чувством, вроде бы как затронул что-то важное, подвинувшее к пониманию в себе. Обошёл трактор, оглаживая стальные бока, и медленно, глядя под ноги, поплёлся к отчему подворью. Но в избу не вошёл. До глубокой ночи, когда звёзды померкли, уступив напору сгустившейся тьмы, просидел на крыльце. Пару-другую раз Маня выходила из дому, хотела сказать, чтоб Ефим перестал изводить себя и шёл бы в избу: на кухне-то дожидается омулёвая ушица, а у него нынче и маковой росинки не было во рту. Но, видать, почувствовала что-то и промолчала. Погоя опустилась на крыльцо рядом с Ефимом. Так и просидела до утра. Поднялась с жёлтой гнучей приступки, уж когда первые солнечные лучи, слабые ещё, как бы даже робостные, выползли из-за угрюмовато-серого гольца, и сказала мужу вялым будничным голосом, точно бы ничего не случилось:

— Пойдём в избу. Чайку сварганим, ушицу подогреем.

Ефим глянул на жену и вздохнул.

Он целый день провозился на подворье, чего-то лада, а ближе к вечеру взял в руки метлу и подмёл подле невысокого крыльчка с тёмно-рыжими слегка подгнившими плахами заместо приступок, промелькнуло в голове, что не мешало бы тут что-то поменять, но теперь же и запомнил про это, увидел посередь двора чёрное пятно и подумал, что это соляра. Видать, прохудились баки. Заладить бы дыры-то!.. Он подумал так, и опять защемило на сердце, и он, вяло взмахнув руками, опустился на колени возле чёрного пятна, вдруг ощутил слабость во всём теле, казалось, некуда деться от неё, она везде и всюду, упорная и злая. А уж когда и вовсе стемнело, лениво поднялся с земли и вышел за ворота. Долго стоял, опершись о калитку, как если бы запомнил, куда навострился пойти. Но в какой-то момент вспомнил и стронулся с места.

Он подошёл к клубу, огляделся, а потом поднялся на пригорок, где стоял трактор, и залез в кабину. Перевёл дух и сказал точно бы назло кому-то повысив голос:

— А чё, не имею права?.. Врёшь!..

Откинулся на спинку сиденья и, когда усталость разлилась по всему телу, задремал, и через малое время помнилось, будто-де едет он по незнакомой широкой степи на тракторе, держа путь к тому месту, где едва маячат синие горы, едет, как вдруг мотор начал захлёбываться, а потом и вовсе заглох. И это было худо: в горах его ждали батяни с матушкой, он обещал приехать на тракторе и помочь в хозяйстве. Было у них и там хозяйство. Как же без него-то?..

Когда Ефим очнулся, не смог вспомнить, что было с ним, но от этого не стало досадно, сладкое томление, что испытал, пребывая в дрёме, сохранилось и когда вылез из кабины и, вздохнув, нехотя спустился с пригорка.

С тех пор едва ль не каждое воскресенье потемну уж, чтоб никто не цеплялся с разными расспросами, он приходил к клубу и подымался на пригорок, где стоял трактор. Не оставлял этой своей привычки и зимой, хотя было непросто: зимы-то в Подлеморье лютые, иной раз слона замерзала на лету. А Ефим даже в самые большие морозы залезал в смертно заолодавшую кабину и, скукожась, сиживал час-другой, держа руки на рычагах.

А время бежало не сказать, чтоб быстро, как не сказать, чтоб медленно. И вот уж жители Подлеморья, да и те, кто приезжал из райцентра по какой-либо надобности, привыкли видеть на пригорке трактор, а подле него нерослого широкоскулого мужика по телу в кепчонке набекрень и выбивающийся из-под неё клоч белых волос, а зимой в надвинутой глубоко на глаза

беличьей шапке-ушанке. То был Ефим, и он уже не робел, приходил и в те поры, когда подле трактора скапливались мужики ли, бабы ли, толкуя про своё. И не испытывал неловкости, когда забирался в кабину. И Маня стала сговорчивей и не ругала мужа, даже если он задерживался и не попевал к ужину. Что-то она поняла в нём, что-то помнившееся хрупким и слабым, и малый ветер способен поменять тут. И теперь уже не хотела, чтоб в муже сотворилась перемена. Чувствовала, случись такое, муж сделается другим, а вовсе не Ефимом, каким привыкла видеть его. Дальше — больше, и вот уж она стала бояться, коль скоро замечала в муже что-то новое, привнесённое извне. И тогда подолгу не отпускала его от себя и всё ластилась к нему, ластилась... Но не в её власти было помешать Ефиму по вечеру уходить со двора. И она терпеливо дожидалась, когда он, нередко виновато улыбаясь, возвращался.

Но однажды он не вернулся. Маня натянула на босы ноги ичиги, накиннула на плечи мужнину шубу из собачьего меха, набросила на голову пуховую шаль и вышла со двора. Она поспешала, сама не зная почему, назло сквозному ветру, бьющему в лицо. Впрочем, отчего не знала-то?.. Когда Ефим уходил из дому в лютую стужу, на сердце у неё обычно делалось тревожно, и она всё то время, пока его не было, мучительно думала: “А чё, как он не возвратится?..” Но тут же обрывала себя: “Да куды ж он денется? Чё, черти унесут? Тьфу, полезет же в голову незнамо чё!..”

Нынче Маня, прождав мужа далеко за полночь, и вовсе как бы тронулась в уме, хлёстко шла по улице встречь лютому ветру, широко разбросав руки и распахнув на груди шубу, и всё шептала отчаянно: “Господи, Господи, помилуй нас, грешных!..”

Ефим шибко продрог. Это попервости, а потом мелкая саднящая дрожь в теле унялась. И ему вроде бы стало не так студёно, словно бы внизу кто-то разжёл костёр, и тепло дотягивало до Ефима. Про костёр он потому и подумал, что перед глазами вдруг сделалось сияюще-красно, точно бы приблизился к солнцу, да не к этому, ближнему, что застряло в низком сумеречном небе, охолодавшее, к другому, высокому, свет дающему и самому слабому. Когда бы было иначе, осилил бы вялость в теле и пошёл бы, куда глаза глядят. Но то и ладно, что не представилось такой возможности, и можно было, окунувшись в дрему, поразмышлять о чём-то призрачном и далёком, неувловимом остывающим чувством.

Когда Маня, оборвав остальные пуговицы у шубы, залезла на гусеницу трактора и распахнула дверцу кабины и увидела мужа, попервости подумала, что он спит: так прозрачен и чист был его лик. Когда ж поняла, что это не так, запричитала, завывала... И это был вой раненой волчицы, и его услышали на самом краю посёлка и долго ещё не могли прийти в себя.

.....

Год 2017-й для писателя, нашего постоянного автора Кима Николаевича Балкова юбилейный — ему исполнилось 80 лет.

Поздравляем!

Желаем крепкого здоровья и благодарных читателей.

Редакция “НС”